



Э. Л. РАДЛОВ

Герцен как философ

Если философом считать того, кто решил в определенном направлении задачи познания, бытия в человеческой деятельности, то за Герценом придется признать, при всем его громадном таланте, лишь философское настроение, ибо он только примыкал к господствовавшим в его время системам философии, а сам на оригинальное решение задач не претендовал.

Годы, в которые образовывался душевный склад Герцена, как известно, отличались в России увлечением немецкой идеалистической философией, и Герцен отдал дань этому увлечению. В Германии последователи гегелевской философии раскололись на два направления — одни, желая быть правоверными, остались при учении своего вождя, другие — так называемые левые гегельянцы — постарались вывести из посылок своего учителя выводы и последовательным путем пришли к отрицанию религии и философии, заменив их материализмом. Тот же процесс совершился и в интеллигентной России: славянофилы и западники представляют собой правый и левый фланг гегельянства. Правда, славянофилы примыкали, главным образом, к Шеллингу и критикам Гегеля, но от сущности немецкого идеализма они не уклонились, западники, напротив, очень скоро, при посредстве Фейербаха, перешли к позитивизму и материализму.

На Герцене этот переход от правоверного гегельянства к позитивизму и материализму очень ясно виден. Две его работы, принадлежащие к раннему периоду его литературной деятельности — «Дилетантизм в науке» (1842 г., 4 статьи) и «Письма об изучении природы» (1845 г., 8 писем), хотя и дышат благоговением к великому германскому мыслителю, но уже обнаруживают и некоторое критическое к нему отношение и признаки перехода к новым точкам зрения. Впоследствии, когда Герцен впитал в себя антропологизм Фейербаха, позитивизм Конта и материализм Фогта, он смеялся не только над своим увлечением юношеского периода, но и над восторженным языком, которым его юношеские произведения написаны. Герцен совершенно отказался от воззрений, изложенных в указанных сочинениях, но систематически уже более не излагал своего мировоззрения. Однако нельзя сказать, чтобы гегельянство не оставило в Герцене никаких следов: формальное, методическое влияние, т. е. развитая диалектика, будучи природным свойством Герцена, получило свое завершение в школе Гегеля.

Чем объяснить этот переход Герцена от идеализма к материализму? Насколько в действительности материализм удовлетворял Герцена?

Объяснения перелома в мировоззрении Герцена следует искать в субъективных свойствах его духа. Характеристику Фауста, данную Мефистофелем, можно, в известной мере, применить к Герцену: «Судьба даровала ему непокорный дух, стремящийся постоянно вперед, не зная удовлетворения... Он тщетно будет молить об успокоении и хотя бы он отдался чорту, он все же должен погибнуть». Герцен всегда был писателем с резко выраженной субъективностью; в душе его не было мира и примирения, к которому он постоянно стремился. Как Фауст, он мог про себя сказать: «Две души живут в моей груди, и одна хочет отделиться от другой; одна тянула его к земле, другая возвышала над всем частным и случайным». Этот душевный разлад и двойственность, а также стремление к примирению легко проследить во всех сочинениях и в жизни Герцена. Так, основная тема двух философских сочинений, заглавия которых мы привели, есть примирение науки с философией,

науки с деятельностью. «Наука,— говорит Герцен в первом сочинении,— провозгласила всеобщее примирение в сфере мышления, и жаждавшие примирения раздвоились»... «Цель моих писем,— говорит он во втором сочинении,— вовсе не та, чтоб знакомить с фактической частью естественных наук, мне хотелось одного: по мере возможности, показать, что антагонизм между философией и естествознанием становится со всяким днем нелепее и невозможнее, что он держался на взаимном непонимании, что эмпирия так же истинна и действительна, как идеализм, что спекуляция есть их единство, их соединение». Но, подобно тому, как Герцену не удалось в философии найти примирение (а только высказать требование и указать необходимость его), так и в жизни ему не удалось достичь цельности и устранить противоречия его души и его мышления. Он остался вечным странником, тщетно искавшим удовлетворения и успокоения. Основное противоречие его характера заключалось в том, что он жаждал деятельности, ставил ее выше теории и сознавал свою неспособность к живому участию в действительных событиях. «Я зритель, а не деятель»,— говорит он о себе: обобщая эту черту, он утверждает, что «отличительная черта нашего века состоит в том, что мы все знаем и ничего не делаем» (7-е письмо об изучении природы). С чувством некоторого презрения говорит он о жизни немецких профессоров: так по поводу биографии Гегеля, написанной Розенкранцем, он восклицает: книга «почти без всякого интереса жизнеописания. Немецкая жизнь без событий, с переменою кафедр, mit Spaarbüchsen für die Kinder, Geburts-feiertagen etc»*. В четвертом очерке «Дилетантизма в науке» Герцен упрекает «буддистов в науке» в том, что они вообразили, что «наука исключительная цель человека»... «Положительное примирение может быть только в деянии свободном, разумном, сознательном... В науке мышление и бытие примирены; но условия мира деланы мыслью — полный мир в деянии». Итак, Герцен ставил практику выше теории, он сознавал истинность фаустовского «вначале было действие», но в то же

* С копилочками для детей, празднованием дней рождения и т. п. (нем.) (III, 240).

время он сознавал и свою неспособность к действию. Получив в наследство из родительского дома только большое состояние, он не получил в то же время ни привычки к постоянному труду, ни определенных традиций; это сделало его непрактичным. «Что ты получил в наследство от своих предков,— говорит Фауст,— то приобрети, чтобы владеть им». Вместе с великими природными дарованиями, доставшимися Герцену даром, как и его состояние, он получил и неспособность к практической деятельности. Требования Фауста он не исполнил, наследства не приобрел, и это удручало его всю жизнь. От немецкой болезни, состоящей в признании ведения последней целью всемирной истории*, Герцен не избавился.

Эта жажда деятельности, неудовлетворенность настоящим и стремление вперед не позволяли ему долго останавливаться на определенном решении философских задач; к тому же в гегелевской диалектике, столь полно им усвоенной, он находил и оправдание этого вечного движения, а в своем скепсисе — постоянный повод к пересмотру принятых решений. В молодости он был вольтерианцем, Гегель его примирил с философией, но вскоре он перешел к иным точкам зрения, однако ни к одной он не мог надолго примкнуть.

Позитивизм его привлекал своим уважением к науке, но он был слишком увлекающимся, слишком «сердечным», для того чтобы вполне примириться с сухой истиной, проповедуемой позитивизмом. Религию он отождествил с мифологией и отверг ее умом, однако не напрасно его называли «неверующим христианином», ибо под конец жизни он заговорил о том, что наука есть любовь, что существует долг и обязанность, что мы обязаны считать некоторые положения науки истинными, что сострадание и любовь к врагам приведут людей к равенству, а не ненависть и преступление. Бакунину он пишет: «Сказать не верь так же нелепо, как противоположное». Герцена тяжелые выводы материализма удручали — он их принимал умом, а не сердцем, и не был в состоянии совершенно отрешиться от веры: христианская догматика

* См.: Дилетантизм в науке, часть IV-я.

была им отвергнута окончательно, но не христианская практика и мораль. В своем «Дневнике» он выписывает мысль Консидерана: «La morale n'est qu'une science mensongère et pédante qui affiche depuis 3.000 ans la prétension de conduire les hommes à la vertu et aux bonnes moeurs avec ses dogmes absurdes de moderation et de repression de passions, qu'il faut au lieu de vouloir les comprimer — trouver les moyens d'utiliser et de satis faire»*, однако сам он вернулся, несмотря на материалистический детерминизм, на который так жестоко нападал Ю. Самарин в своем известном письме¹, к проповеди морали и притом морали христианской. Такие же колебания, какие можно отметить в отношениях Герцена к основным направлениям философской мысли, к религии и морали, заметны и в его понимании истории: если он сначала понимал историю и исторический прогресс согласно учению Гегеля, то, усвоив себе принципы позитивизма и материализма, он стал отрицать всякий смысл в историческом процессе.

Вместе с идеей целесообразности отверг он и идею прогресса: в истории нет развития, существуют лишь значительные моменты, отсюда следует, что только индивидуальная жизнь имеет ценность, и все общее есть только отвлечение. Но и на этой скептической и пессимистической точке зрения Герцен не удержался: он говорит, что вера в русский народ спасла его от отчаяния, и вопреки своему отрицанию смысла истории он повторяет мечты о том, что России суждено спасти Запад, в котором он очень скоро разочаровался. В «Дилетантизме в науке» вполне естественно встретить мысль о посреднической миссии России. Здесь он пишет: «Тут раскроется великое призвание бросить нашу северную гривну в хранилищницу человеческого разума; может, мы, мало жившие в былом, явимся представителями действительного единства науки и жизни, слова и дела». Но встречать подобные же упования в позитивный период значит признать,

* Мораль — это лживая и педантическая наука, которая вот уже 3000 лет претендует вести людей к добродетели и добрым нравам при помощи нелепых догм воздержания и подавления страстей, надо же стремиться не *подавлять* их, а *находить им применение* и удовлетворять их (*фр.*) (II, 358–359).

что позитивизм не вполне обладал душою писателя, что в сердце его остались уголки, в которые ум неохотно заглядывает, ибо боится найти там то, что он не может признать истинным.

По-видимому, и Герцен мог про себя сказать, подобно Якоби: «Я умом язычник, а сердцем христианин»².

Предпочтение деятельности отвлеченному знанию, живость и впечатлительность души Герцена в достаточной степени объясняют его колебания, его стремление к примирению и неуспех в этом деле, но позволительно будет поставить еще один вопрос: Герцен отверг религию, приравняв ее к мифу, он уверовал в науку и ее удручающие выводы, однако, избавился ли он в то же время от романтического мистицизма, проникшего в его душу вместе с немецким идеализмом?

Мистицизм есть основа всякой религии и всякого творчества, он противоречит и противоположен критике и анализу; его стихия — мечтательность и признание чудесного и случайного в жизни. Отказался ли Герцен вместе с догматикой от религиозной мистики? Если бы это в действительности было так, то его мысли и слова не походили бы столь часто на мысли и слова славянофилов; он тогда не мечтал бы о миссии России, не идеализировал бы русскую действительность, как это он делал под конец жизни. Он очень отрицательно относился к православию — он, пожалуй, согласился бы с Л. Толстым, утверждавшим в «Критике догматического богословия Макария», что сущность православия есть глупость³ — однако даже в слабости и недостаточности православия он старается усмотреть преимущество перед католичеством; православие не имело никакого влияния на русскую жизнь, поэтому Россия в будущем имеет возможность проявить себя на поприще истории; в старообрядчестве же Герцен прямо видит наиболее здоровую часть народа, сохранившего национальную идею, народный дух и народные традиции.

Все эти мечтания имеют мистический оттенок и трудно выжуются с научным позитивизмом.

Мы до сих пор причину колебаний Герцена, его противоречий и неуспеха в стремлении к синтезу и примирению

искали в субъективных свойствах его; ими, конечно, они и объясняются, но Герцен не был бы тем громадным художественным талантом и выдающимся мыслителем, каковым мы его знаем, если б он не оправдывал все изменения в своих воззрениях объективными доводами и разумными основаниями. В этом отношении любопытно посмотреть, что он ставит в упрек Гегелю в двух своих философских произведениях и что заставило его изменить Гегелю; интересно также сравнить критику Гегеля, как она изложена Герценом, с критикой Хомякова. Отметим кстати, что «Письма об изучении природы» представляют одно из самых ранних изложений истории философии в русской литературе. Первое изложение истории философии принадлежит Галичу и относится к 1818 году, второе — архимандриту Гавриилу и появилось в 1839–1840 годах; вряд ли Герцен знал об их существовании, ссылок на них у него не встречалось. В своем талантливом изложении, доведенном до конца XVIII века, до французских энциклопедистов, он руководствуется, главным образом, гегелевской историей философии, хотя, как видно из «Дневника», многих философов он читал и самостоятельно. Свою задачу Герцен понимает очень широко и дает весьма талантливый, хотя и несколько поверхностный очерк — как это, впрочем, иначе и не могло быть в тех границах, которые он себе поставил.

Диалектика Гегеля, примененная к его системе абсолютного идеализма, должна была превратить эту систему в преходящий момент в развитии безусловного начала, поэтому и Хомяков, и Герцен, представлявшие два полюса гегельянства в России, высказали свои критические замечания на систему Гегеля. Замечания Хомякова очень определены и сводятся к трем основным пунктам: во-первых, коренная ошибка рационализма, в том числе и системы Гегеля, состоит в том, говорит Хомяков, что рассудок, т. е. одна сторона духа, принимается за цельность духа. Рассудок же по своей природе есть способность чисто формальная, поэтому ему в познании предмета доступна лишь формальная сторона, т. е. его закон, а отнюдь не действительность. Эта действительность есть, по мнению Хомякова, воля. До идеи воли Гегель не мог дойти, ибо он шел путем аналитическим,

или рассудочным, воля же есть нечто предшествующее как знанию, так равно и сознаваемым предметам. Подобно тому как Гегель не понял цельного разума и действительно сущего, т. е. воли, так он не понял и закона действительности: Гегель понимает субъективное движение понятий в индивидуальном мышлении как тождественное с движением самой действительности, однако хотя диалектика познания и вполне соответствует логике познаваемого, но, проходя одну и ту же линию, они проходят ее в обратном друг другу направлении. Пути познания и реальности тождественны, но подобны лестнице, по которой один идет вверх, а другой вниз. Итак, в числе указанных трех пунктов критики Хомякова отвергнуто и основное положение гегельянства — тождество бытия и мышления.

Критика Герцена не столь определена и ее приходится разыскивать в различных местах его сочинений; но напрасно стали бы мы искать у него детальных указаний, относительно ошибок методы и системы Гегеля. Герцен высказывает лишь самые общие соображения, не вдаваясь в подробную критику. Как в «Дневнике», так равно и в «Дилетантизме в науке» и в «Письмах об изучении природы» видно самое благоговейное отношение к великому учителю; Герцен старается защитить его от упреков в формализме и темноте языка, и, тем не менее, в этих произведениях чувствуется, что автор прощается с своим кумиром, что он готовится обменять его на другое божество. Любовь к учителю осталась, но вера в его учение пошатнулась.

...Собравшись в дорогу,
В последний раз вам Вера предстоит,
Еще она не перешла порогу,
А дом ее уж пуст и гол стоит.
Еще она не перешла порогу,
Еще за ней не затворилась дверь...
Но час настал, пробил... Молитесь Богу:
В последний раз вы молитесь теперь⁴.

Герцен постоянно повторяет, что истина находится в вечном движении, что «всякое положение отрицается в пользу высшего и что только в преемственной последовательности этих положений, борений и снятий проторгается живая

истина, что это ее змеиные шкуры, из которых она выходит свободнее и свободнее... в развитии науки не на что опереться; одно спасение в быстром, стремительном движении». Таким образом, оружие против Гегеля взято из его же арсенала; оно выковано самим Гегелем в его диалектике. Герцен упрекал Гегеля в непоследовательности, в боязни «идти до последнего следствия своих начал; у него не достало геройства последовательности, самоотвержения в принятии истины во всю широту ее и чего бы она ни стоила... Гегель часто, выведя начало, боится признаться во всех следствиях его и ищет не простого, естественного, само собой вытекающего результата, а еще, чтобы он был в ладу с существующим: развитие делается сложнее, ясность затемняется». «Подвиг Гегеля состоит в том, что он науку так воплотил в методу, что стоит понять его методу, чтобы почти вовсе забыть его личность, которая часто без всякой нужды выказывает свою германскую физиономию и профессорский мундир берлинского университета, не замечая противоречия такого рода личных выходов со средою, в которой это делается. Но это появление личных мнений у Гегеля до такой степени неважно и неуместно, что никто из порядочных людей не останавливается перед ними, а его же методою бьют наголову те выводы, в которых он является не органом науки, а человеком, не умеющим освободиться от паутины ничтожных и временных отношений; из его начал смело идут против его непоследовательности — с твердым сознанием, что идут за него, а не против него».

В этих упреках в непоследовательности слышится уже последователь антропологизма Фейербаха и в дальнейшем приверженец позитивизма, отвергающий всякую метафизику, кроме метафизики материализма.

Второй упрек, который Герцен делает Гегелю, состоит в том, что последний не справился с «немецкой болезнью», с теоретичностью и всеобщностью. «Гегель более намекнул, нежели развил мысль о деянии. <...> он много раз впадал в немецкую болезнь, состоящую в признании ведения последней целью всемирной истории <...> Доведя науку до крайней точки — он нанес ее могуществу, как исключительному, сильный удар, ибо каждый шаг вперед долженствовал быть

шагом в практические сферы. Ему лично довлекло знание, и потому он не сделал этого шага <...> Всеобщее не есть полная истина, а одна фаза ее, в которой частное распустилось, а процесс перехода уже совершился. Всеобщее представляет довременный или послевременный покой, но идея не может пребывать в покое, она сама собой выходит из области всеобщего в жизнь»... В этих упреках уже чувствуется Герцен, политик и социолог, возлагавший надежды на революцию и потом проклинавший ее; чувствуется, как мало его удовлетворяют отвлеченности и как он жаждет настоящей жизни и деятельности. Оба упрека: упрек в непоследовательности и в отвлеченной теоретичности — не касаются системы Гегеля по существу, не указывают на то, что Герцен и с содержанием абсолютного идеализма порвал или намерен порвать связь, но у него встречается замечание, которое касается одного из основных принципов гегельянства, а именно положение о тождестве бытия и мышления. Стараясь примирить естествознание с умозрительной философией, Герцен высказывает о Гегеле следующую мысль: «Гегель хотел [примирить] природу и историю как прикладную логику⁵, а не логику как отвлеченную разумность природы и истории. Вот причины, почему эмпирическая наука осталась так же хладнокровно глуха к энциклопедии Гегеля, как и к диссертациям Шеллинга <...> философия Гегеля совершила это примирение (т. е. философии и естествознания) в логике, приняла его в основу и развила через все обители духа и природы, покоряя их логике — эмпиризм продолжал молчать. Он видел, что прародительский грех схоластики не совершенно стерт еще. Без сомнения, Гегель поставил мышление на той высоте, что нет возможности после него сделать шаг, не оставив совершенно за собой идеализма; но этот шаг не сделан, и эмпиризм хладнокровно ждет его; зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всем отвлеченным сферам человеческого ведения! Эмпиризм, как слон, тихо ступает вперед, зато уже ступит хорошо» [том, стр.].

В этих замечаниях Герцена дело идет уже о самом существе гегельянства. Требовать, чтобы логика была отвлечением от природы и истории, т. е. от действительного бытия, значит становиться на обыкновенную точку зрения

философии здравого смысла и отказываться от учения о тождестве бытия и мышления. Сочувствие эмпиризму, заметное в словах Герцена, уже предвещает измену идеализму и переход к материалистическому мировоззрению...

Сравнивая критику Герцена с критикой Хомякова, нельзя не видеть, что Хомяков входит в рассмотрение самого существа дела, что он желает устранить недостатки системы для того, чтобы удержать ее основные принципы, в то время как Герцен держится в сфере отвлеченностей и настаивает, главным образом, на истинности метода, который он готов обратить против автора ее; отсюда только один шаг к тому, чтобы всецело отвергнуть систему, предмет юношеского увлечения.

Герцена упрекали в эклектизме; трудно придумать менее основательный упрек. Единственным основанием к нему служит то, что Герцен часто менял свою философскую точку зрения, оставаясь верным лишь вере в науку, хотя эта вера и далась ему дорогою ценою. Герцен по своей натуре совершенно не был склонен к эклектизму; меняя свои позиции, он всецело усваивал себе принципы вновь усвоенной точки зрения. Он в такой же степени был гегельянцем, в какой он впоследствии был позитивистом и материалистом. В вечном движении мысли он находил оправдание своих частых переходов, которые все им были пережиты и выстраданы. Он был натурой увлекающейся, а увлечение — дурная почва для эклектизма.

1920

